Пятигорск

Меж пяти гор обретаю покой.

Привет сердечный шлю тебе, Максим Викторович, из города, целиком и полностью меня покорившего.
Знаю из твоих писем и телефонограмм, что следишь за моей судьбой и скитаниями, любезнейший мой друг! Вижу ясно пред собой, что раскаленной пятницей наверняка зажимает тебя пышащая сушью, сталью, газами и переговорами августовская осоловевшая Москва. И нигде – ни в копошащихся офисах, в сутолоке канцелярских дел и борьбы за место под живительным потоком, ни на эскалаторе, с сухим ветром без кислорода и вагонным резиновым духом, ни у блестящих рельс, ни тем более в самом вагоне, у подмышки усталого курьера в «Охотном ряду», не найти прохладного покоя и безмятежности, как здесь, в саду, где течет вода и горный ветер бродит по орешнику.

Счастливый я - и нашел в тени хозяйской летней столовой, у закрытых от дневной жары хлебов, под хитросплетением лозы, лавочку поудобнее, чтобы выказать тебе некоторой отчет моей горной кампании. Тебя же воззываю оставить, как Михаил Илларионович, горящую белокаменную и взять желтый билет на скорый до Пятигорска.

На то ль, мой друг, господня воля!

Ибо здесь, любезный, меж пяти гор, каждый обретет покой и прекрасное пищеваренье. Немедленно отвечай мне на сие письмо, не то неделю-вторую буду ходить в отделение, несмотря на раскаленную действительность.

Как ты знаешь, мы покинули поседевшее Приэльбрусье и на моторе за несколько часов добрались до этого чудесного уездного городка… а, впрочем, ежели по делу говорить, скорее города – растущего, раскинувшегося, разлапистого, как ели Машука.

Ты помнишь, что несколькими годами ранее я уже был влюблен в его тенистые извилистые улицы и писал об этом, но как знакомый полузабытый сон, лицезрею и изумляюсь этому божьему местечку каждый раз заново. И заново его открываю сердцу.

Мы сняли здесь комнатку подле Автовокзала, зайдя за него, из шумного потока экипажей ловко ныряем в узкий проход, подле плетня, за колючей ежевикой - в тенистый пыльный сад - и как будто не остается ничего от горожанина во мне не остается – кроме усмиренных зеленью звуков клаксонов – а в обрамлении сада - чистого синего неба и изгибов Бештау.

По утрам мы пьем родниковую воду, варим кофе и режем скрипучий мокрый сыр. Иногда мы глядим друг на друга, иногда - нет. Если до жары и пыли сесть на трамвай и посидеть так, уткнувшись лбом в стекло, можно заметить необратимые перемены в городе и в десять минут домчать до Верхнего рынка.
Ты ж знаешь, дорогой Максим Викторович, что нет для меня большей услады, чем смотреть на Пятигорск ранним утром.

Весь этот запыленный старый город, в морщинах, арках и узких проходах, проводах и спящих кошках – не меняется – и радует меня безмерно. Но незаметно, год от года, помимо безвкусных вывесок и пластиковой требухи, бессовестно портящей местный гордый колорит, возрождаются старые дома и разбиваются сочные желтые и багровые клумбы. Город расцветает и местный его губернатор, поговаривают, проявляет небывалый активизм и неприсущую молодым головам мудрость. Мимо свежих бордюров – легкие каблучки, вдоль чистых (и пыльных тоже) окон – плывут белые зонтики.

Ох, лишь бы не трогали мои любимые дворы, где в стенах трещины, ледяная вода из колонки, воркуют голуби, водостоки – месячной работы, нет месячного произведения на свет! – из коричневых коростяных рук грузинского мастера; коляски и старые колеса, проходы, где двум немолодых городским чиновникам не разойтись мягкими брюшками, да и накрахмаленными щеками едва ли не облобызаться. Где в сарае с покосившейся трубой, в увешанном тряпьем дворике, с горшками и косоворотками, да какими-то еще оглоблями и сиплым самоваром, живет Иван Никитич, сипло же он здоровается с каждым случайно забредшим во двор и при каждом степенно, прежде чем подсказать путь, закуривает жеваный мундштук, с дарственной надписью «Капитану 3го ранга Опостышеву И.Н.».

Здесь можно коротать время и направления этими самыми тесными забитыми жизнью дворами и, чуть помаявшись, непременно дождаться взмаха руки в направленье или назиданье. Здесь в почете услышать и рассказать жизненную историю совершенно случайному собеседнику, вышедшему вывесить простыни на веревки, да так и застрявшему с тазом в руках на бесконечные московские полчаса. И абсолютно неприметные пятигорские.
Можно, коль хочешь, зайти в двухэтажный, врастающий в каменный хрустящий грунт, стодвадцатилетний дом, пройти, затаив дыхание, полированными каменными ступенями этажом выше, постоять чуть в теньке и даже с легким сердебиением в ушах, послушать стоны и треск старого здания и былой жизни, сонное ворчание бабки и детские жалобы, плач и грохот стульев, услышать запах жареной картошки с луком, на сале, чуть в примешку с газом – скользской от жира старой плиты с закопчеными счетчиками. Посмотреть в щель рассохшейся двери атрибуты чьей-то пустой и брошенной комнаты, но с непременно оставленными вещами былой жизни – табуретами, плакатами, книгами в толстом переплете и ненужной пружинной кровати с матрацем. Ощутить, обнюхать эту бахрому времени на карнизах, эту не оставившую дом, но остановившуюся жизнь, посмотреть в желтые глаза местным кошкам. Постоять так, наслаждаясь – и стремительно выйти, заслышав звон ключа в замке – как гость, обшившийся дверью, как сорванец, залезший за селитрой на чердак мазанки. Чуть неловко, поклонившись старому косяку проема подъезда, выйти.

Здесь, ежели проспал до девяти, уже прячется и дремлет на жаре патриархальный Кавказ – многослойный, как пирог, где нижние слои не съедены временем, цифрой, будь она неладна и красной сволотой теории всеобщего равенства.

А если будильник звенит и тренькает – и не забыл поставить - встаю в половину седьмого, непременно гляжу и гляжу в эту чуть одряхлевшую городскую милую картину, еще прохладную.

Стекло трамвая исцарапано, но и оно – благородней мутных грубых мазков под «Не прослоняться» в твоем метро, у подмышки куьера в «Александровском саду». Где каждый склонил голову не перед историей и духом времени, а перед телефоном.
Я обыкновенно прислоняюсь к окну трамвая и гляжу и гляжу.
Или выхожу один я на дорогу… и меряю штиблетами расстояние между эпохами.

Здесь мгновения останавливают ум… и нет большей радости, чем ранним утром наблюдать эту самую простую русско-кавказскую жизнь, выйдя из свистящего сквозняками вагона. И чувствовать на языке пузырьки из бювета, открыв холодный кран, в до чопорности строгих правилах и назидательном тоне - наливания минеральной воды несдающейся, в химических светлых кудрях какой – нибудь Раисы Захаровны, живому памятнику советской интеллигенции.
О, как я люблю это настоящее тесто, эту кавказскую закваску пятигорцев!
Я не обижаюсь на нее ничуть, разве только украдкой сразу сдергиваю опостылевшую рту маску.

Настенька, чем смешит меня, пьет, зажав нос. Я хожу медленно, испиваю медленно, взираю на все, ей-Богу, как первый раз – и гримаса радости и благоденствия выказывает выражение моего лица. И в прохожих вижу подобное.

Как ты там, в своих ипотечных Москвах, любезный мой друг Максим Викторович? Надышусь Машуком, накупаюсь в бесстыжих ванных, где окрики теток, нетерпеливо мнущиеся ноги в очереди, наслушаюсь в них рассудительных бесед о пользе сероводорода и исследованиях врачей, и сладостных уху «электросон», «тамбуканская грязь» и обязательно - «сердечко аж зашлось»… напьюсь кавказского неторопливого акцента ..и насмотрюсь на коричневые крыши, среди горячего вонючего блаженного потока и журчания – и приеду, может, к тебе в новую баню, которой, единственное что, ой как не хватает моему курортному коротанию августа.

А рынок! Ты видел Верхний рынок! Он поменялся совершейнейшим образом, представлен ныне на модный фасон - без современной пошлости и никоем разом – внутренне. Такому рынку позавидует московский пассаж! Уже семь утра – и ты тонешь в гвалте, сладких и острых запахах соленостей, зелени, фруктов и лепешек. Если придти с авоськой, без пакетов, и на душе поприятнее. Кладешь мокрые тугие пучки кинзы, рукколы, базелика и торгуешься с сорока (!) рублев за помидоры, чем выказываешь не меньше уважения хозяюшке, чем равнодушному набору корзины иных, московских, с залысинами и лакированными моторами – без торга и лишнего диалога. Каждая торговка дюже скинет тебе цену, ежели придешь пораньше – или против, послеобеденным зноем, к закрытию. Пока отсчитываешь мелочь, привычно слушаешь незлобную ругань хозяек, а живот – урчит уж будь здоров - внутренне радуешься и воспеваешь себя, что вернулся в Пятигорскъ.

Мечтаю перевезти сюда своих родителей – чтобы вместе совершать вечерний променад – а новых дорожек здесь от Провала вниз не счесть… слушать в царстве акаций, цикад и буйства Цветника городской оркестр, где обыкновейнейшие жители, мой друг, (жители!, а не какой-нибудь сурьезный важный петербурсгкий оркестрант с пышным гонораром!) раздувают щеки и дуют в блестящую медь. Послушать сию волшебную музыку, видеть их радость, блеск глаз и румяные щеки, ибо быть в окружении всеобщего удовольствия, смеющихся дам, торчащих вверх сытых мужских усов – наслажденье!

Посему, друг мой, г-н Батраков, высказываю Вам приглашенье, да что ж там - требованье в ближайшие две недели паковать чемоданы с домашними и буду считать сущей оказией и немилостью твой отказ в пользу службы и предприятия. Не приедешь – буду дружески страмить в письмах. А коль явишься - встречу тебя под гудки паровоза и слезы публики, возьму за бледную московскую руку тебя и твою барыню, а также Платошу - на руки, усажу на кожаный диван повозки – и поцокаем под ржание лошадей кабардинской породы, а ежели повезет – и поедем к Провалу, высечем искры на брусчатке у бювета, благо, что кое-где осталась она... и хранит память.

А ужо заедем в гости к Михаилу Юрьевичу, чей дом под камышами и двор удивительно хороши, да с нетронутыми стенами и почти – обстановкой. И хоть квартиранта в мундире не было здесь под пару веков (а мундир будто его – висит, а в самом деле Столыпина) – ты будешь изумлен сохранностью его петербургского шикарного кожаного гнутого кресла, дивишься поблекшим изумрудом сукна стола, помнящего острые локти поэта, где рождался в муках или страсти «Пророк» и где пыльный луч до сих пор бьет сквозь черешню палисадника в толстое стекло… и висит в воздухе, и роится. Думается мне, что именно его - луч этот туманный, светлый, переменчивый – и далекий за ним, в дымке, Эльбрус, созерцал мерцающий глаз дарования земного… и перо подрагивало в руке, и смеялись и ржали на бешеном скаку …мысли и чувства…чтобы взлететь в пене на бумагу, с брызгами чернил… таков сам Лермонтов.

…
Настасья зовет отобедать и посему раскланиваюсь тебе росчерком пера. Жму твою руку и Бог свят – жду, маюсь и жду в мой прекрасный и тенистый, живой и бурлящий, минеральный Пятигорскъ. Собирайтесь же!

P.S. Уважь меня, возьми мой желтый парусиновый чемодан, оставленный после нашего кутежа в Москве… да только смотрит не оботри низ, он нежный, хоть и засален. Обнимаю вас со всею благословенной семьей. И жду, жду!

Евгений Титков 13.08.2021